

Б И Б Л И О Т Е К А

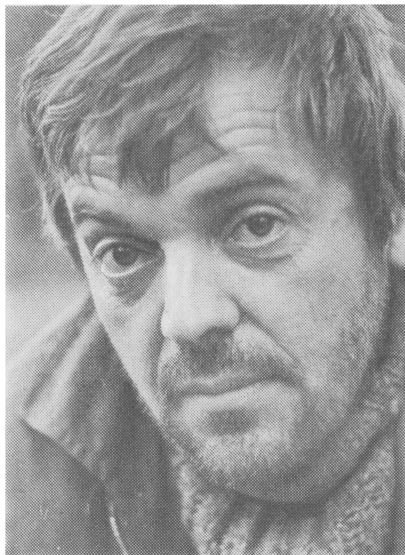
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 3

1990



Юрий КОВАЛЬ

К О Г Д А - Т О Я
С К О Т И Н У П А С

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 3

Издается с января 1925 года

Юрий КОВАЛЬ

КОГДА-ТО Я СКОТИНУ ПАС

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1990

Юрий КОВАЛЬ

Юрий Иосифович Коваль родился в Москве в 1938 году.

В 1960 году окончил историко-филологический факультет МГПИ им. В. И. Ленина. Работал учителем в сельской школе, в школе рабочей молодежи.

С 1972 года член Союза писателей СССР.

В основном известен как детский писатель. Автор книг «Чистый Дор», «Кепка с карасями», «Недопесок», «Полынные сказки», «Самая легкая лодка в мире» и др.

Книги Юрия Ковалья переводились на английский, немецкий, французский, итальянский, польский, венгерский, голландский, шведский, финский, болгарский, норвежский, датский и другие языки.

ЧАЙНИК

Меня не любит чайник.

Тусклыми латунными глазами целый день следит он за мною из своего угла.

По утрам, когда я ставлю его на плитку, он начинает привывать, закипает и разъяряется, плюется от счастья паром и кипятком. Он приплясывает и грохочет, но тут я выключаю плитку, завариваю чай, и веселье кончается.

Приходит Петрович. Прислоняется к шкафу плечом.

— Неплатеж, — говорит Петрович.

Это неприятное слово повисает в воздухе между чайником, мною и Петровичем.

Мне непонятна реакция чайника. Нравится ему это слово или нет? На чьей он стороне? Со мною он или с Петровичем?

— Длительный неплатеж, — говорит Петрович.

Холодным взглядом чайник окидывает меня и отстраняется. Если он не с Петровичем, то и не со мной. Висящее слово его не беспокоит. Ему наплевать на мои затруднения. Он и без меня проживет.

— Когда заплатишь? — спрашивает Петрович.

— Понимаешь, — объясняю я, — меня не любит чайник.

— Кто? Это который вчера приходил? Чего это вы орали?

— Чайник, Петрович. Который вот он здесь стоит. Вот этот, латунный.

— А я думаю, чего они орут? Наверно, деньги завелись. Дай, думаю, зайду. Пора за квартиру платить.

— У меня с ним странные, очень напряженные отношения, — жалуюсь я. — Он постоянно следит за мной, требует, чтобы я его беспрерывно оклятил. А я не могу, пойми! Есть же и другие дела.

— И колбаса осталась, — удивляется Петрович, глядя на стол, не убранный с вечера. — До двух часов орали! Я уж думаю, как бы друг друга не зарезали.

Я включаю плитку, и чайник сразу начинает гнусавить.

— Вот слышишь? Слышишь? Погоди, еще не то будет,— говорю я. Петрович меня не слышит. Он слушает свой внутренний голос. А внутренний его голос говорит:

— Чего слушать? Надоело! Плати или съезжай!

Чайник отчего-то замолкает, бросает гнусавить и, тупо набычившись, прислушивается к нашему разговору.

У Петровича я снимаю угол, в котором несколько углов: угол, где я, угол, где краски, угол, где чайник, угол, где шкаф, а сейчас и Петрович со своим внутренним голосом, который легко становится внешним:

— На колбасу деньги есть! Колбаска, хлеб, культурное обслуживание, орут до четырех утра! А нам преподносится неукоснительный неплатеж!

Почему молчит чайник? Делает вид, что даже и не слыхивал о кипении.

— Молчит,— поясняю я Петровичу.— Нарочно молчит, затаился. И долго еще будет молчать, такой уж характер.

— А то сделаем, как прошлый раз,— намекает Петрович.

Ну и выдержка у моего чайника! Плитка электрическая раскалилась, а он нарочно не кипит, сжимает зубы, терпит и слушает. Ни струечки пара не вырывается из его носа, ни шепота, ни бульканья не доносятся из-под крышки.

А в прошлый-то раз было сделано очень плохо. За длительный трехмесячный неплатеж Петрович вынес мои холсты и рисунки во двор, построил из них шалашик и поджег. Опаленный и осыпанный пеплом, метался я и не знал, что делать. Выход был один — Петровича убить.

— Слушай, что с твоим чайником? Чего он не кипит? — говорит Петрович.

Нервы у чайника натянуты до предела, он цедит сквозь носик тонкий, как укус осы, звук.

Я отодвигаюсь подальше. Знаю, что с моим чайником лучше не связываться, он беспредельник. Может выкинуть любую штуку.

— Или плитка перегорела? — говорит Петрович и подходит к чайнику.

— Осторожно,— говорю я.— Берегись!

Петрович отдергивает руку, но поздно.

Крышка срывается с чайника. Раскаленные ошметки пара, осколки кипятку летят в Петровича. Он ослепленно воем и вываливается на кухню, сует голову под кран.

Чайник веселится, плюется паром во все стороны, приплясывает, подпрыгивает и победно грохочет.

Надо бы, конечно, выключить плитку, посидеть и подумать, как же мне жить дальше. Как жить дальше — неизвестно, а чайник, ладно, пускай пока покипит.

КАРТОФЕЛЬНАЯ СОБАКА

Дядька мой, Аким Ильич Колыбин, работал сторожем картофельного склада на станции Томилино под Москвой. По своей картофельной должности держал он много собак.

Впрочем, они сами приставали к нему где-нибудь на рынке или у киоска «Соки-воды». От Акима Ильича по-хозяйски пахло махоркой, картофельной шелухой и хромовыми сапогами. А из кармана его пиджака торчал нередко хвост копченого леща.

Порой на складе собиралось по пять-шесть псов, и каждый день Аким Ильич варил им чугуны картошки. Летом вся эта свора бродила возле склада, пугая прохожих, а зимой псам больше нравилось лежать на теплой, преющей картошке.

Временами на Акима Ильича нападало желание разбогатеть. Он брал тогда кого-нибудь из своих сторожей на шнурок и вел продавать на рынок. Но не было случая, чтоб он выручил хотя бы рубль. На склад он возвращался еще и с приплодом. Кроме своего лохматого товара, приводил и какого-нибудь Кубика, которому некуда было приткнуться.

Весной и летом я жил неподалеку от Томилино на дачном садовом участке. Участок этот был маленький и пустой, и не было на нем ни сада, ни дачи — росли две елки, под которыми стоял сарай и самовар на пенке.

А вокруг, за глухими заборами, кипела настоящая дачная жизнь, цвели сады, дымились летние кухни, поскрипывали гамаки.

Аким Ильич часто наезжал ко мне в гости и всегда привозил картошки, которая к весне обрастала белыми усами.

— Яблоки, а не картошка! — расхваливал он свой подарок. — Антоновка!

Мы варили картошку, разводили самовар и подолгу сидели на бревнах, глядя, как между елками вырастает новое сизое и кудрявое дерево — самоварный дым.

— Надо тебе собаку завести, — говорил Аким Ильич. — Одному скучно жить, а собака, Юра, это друг человека. Хочешь, привезу тебе Тузика? Вот это собака! Зубы — во! Башка — во!

— Что за имя — Тузик. Вялое какое-то. Надо было назвать покрепче.

— Тузик — хорошее имя, — спорил Аким Ильич. — Все равно как Петр или Иван. А то назовут собаку Джана или Жеря. Что за Жеря — не пойму.

С Тузиком я встретился в июле.

Стояли теплые ночи, и я приноровился спать на траве, в мешке. Не в спальном мешке, а в обычном, из-под картошки. Он был шит из прочного ноздреватого холста для самой, наверно, лучшей картошки сорта «лорх». Почему-то на мешке написано было «Пичугин». Мешок я, конечно, выстирал, прежде чем в нем спать, но надпись отстирать не удалось.

И вот я спал однажды под елками в мешке «Пичугин».

Уже наступило утро, солнце поднялось над садами и дачами, а я не просыпался, и снился мне нелепый сон. Будто какой-то парикмахер намывает мои щеки, чтоб побрить. Дело свое парикмахер делал слишком упорно, поэтому я и открыл глаза.

Страшного увидел я «парикмахера».

Надо мной висела черная и лохматая собачья рожа с желтыми глазами и разинутой пастью, в которой видны были сахарные клыки. Высунув язык, пес этот облизывал мое лицо.

Я закричал, вскочил было на ноги, но тут же упал, запутавшись в мешке, а на меня прыгал «парикмахер» и ласково бил в грудь чутунными лапами.

— Это тебе подарок! — кричал откуда-то сбоку Аким Ильич. — Тузик звать!

Никогда я так не плевался, как в то утро, и никогда не умывался так яростно. И пока я умывался, подарок — Тузик — наскакивал на меня и выбил в конце концов мыло из рук. Он так радовался встрече, как будто мы и прежде были знакомы.

— Посмотри-ка, — сказал Аким Ильич и таинственно, как фокусник, достал из кармана сырую картофелину.

Он подбросил картофелину, а Тузик ловко поймал ее на лету и слопал прямо в кожуре. Крахмальный картофельный сок струился по его кавалерийским усам.

Тузик был велик и черен. Усат, броваст, бородат. В этих зарослях горели два желтых неугасимых глаза и зияла вечно разинутая, мокрая, клыкастая пасть.

Наводить ужас на людей — вот было главное его занятие.

Наевшись картошки, Тузик ложился у калитки, подстерегая случайных прохожих. Издали заприметив прохожего, он таился в одуванчиках и в нужный момент выскакивал с чудовищным ревом. Когда же член дачного кооператива впадал в столбняк, Тузик радостно валился на землю и смеялся до слез, катаясь на спине.

Чтоб предостеречь прохожих, я решил приколотить к забору надпись: «Осторожно — злая собака». Но подумал, что это слабо сказано, и так написал:

ОСТОРОЖНО! КАРТОФЕЛЬНАЯ СОБАКА!

Эти странные, таинственные слова настраивали на испуганный лад. Картофельная собака — вот ужас-то!

В дачном поселке скоро прошел слух, что картофельная собака — штука опасная.

— Дядь! — кричали издали ребяташки, когда я прогуливался с Тузиком. — А почему она картофельная?

В ответ я доставал из кармана картофелину и кидал Тузику. Он ловко, как жонглер, ловил ее на лету и мигом разгрызал. Крахмальный сок струился по его кавалерийским усам.

Не прошло и недели, как начались у нас приключения.

Как-то вечером мы прогуливались по дачному шоссе. На всякий случай я держал Тузика на поводке.

Шоссе было пустынно, только одна фигурка двигалась навстречу. Это была старушка-бабушка в платочке, расписанном огурцами, с хозяйственной сумкой в руке.

Когда она поравнялась с нами, Тузик вдруг клацнул зубами и вцепился в хозяйственную сумку. Я испуганно дернул поводок — Тузик отскочил, и мы пошли было дальше, как вдруг за спиной послышался тихий крик:

— Колбаса!

Я глянул на Тузика. Из пасти его торчал огромный батон колбасы. Не колесо, а именно батон толстой вареной колбасы, похожий на дирижабль.

Я выхватил колбасу, ударил ею Тузика по голове, а потом издали поклонился старушке и положил колбасный батон на шоссе, подстелив носовой платок.

...По натуре своей Тузик был гуляка и барахольщик. Дома он сидеть не любил и целыми днями бегал где придется. Набегавшись, он всегда приносил что-нибудь домой: детский ботинок, рукава от телогрейки, бабю тряпичную на чайник. Все это он складывал к моим ногам, желая меня порадовать. Честно сказать, я не хотел его огорчать и всегда говорил:

— Ну молодец! Ай запасливый хозяин!

Но вот как-то раз Тузик принес домой курицу. Это была белая курица, абсолютно мертвая.

В ужасе метался я по участку и не знал, что делать с курицей. Каждую секунду, замирая, глядел я на калитку: вот войдет разгневанный хозяин.

Время шло, а хозяина курицы не было. Зато появился Аким Ильич. Сердечно улыбаясь, шел он от калитки с мешком картошки за плечами.

Таким я помню его всю жизнь: улыбающимся, с мешком картошки за плечами.

Аким Ильич скинул мешок и взял в руки курицу.

— Жирная,— сказал он и тут же грянул курицей Тузика по ушам.

Удар получился слабенький, но Тузик-обманщик заныл и застонал, пал на траву, заплакал поддельными собачьими слезами.

— Будешь или нет?!

Тузик жалобно поднял вверх лапы и скорчил точно такую горестную рожу, какая бывает у клоуна в цирке, когда его нарочно хлопнут по носу. Но под мохнатыми бровями светился веселый и нахальный глаз, готовый каждую секунду подмигнуть.

— Понял или нет?!— сердито говорил Аким Ильич, тыча курицу ему в нос.

Тузик отворачивался от курицы, а потом отбежал два шага и закопал голову в опилки, горкой насыпанные под верстаком.

— Что делать-то с нею?— спросил я.

Аким Ильич подвесил курицу под крышу сарая и сказал:

— Подождем, пока придет хозяин.

Тузик скоро понял, что гроза прошла. Фыркая опилками, он кинулся к Акиму Ильичу целоваться, а потом вихрем помчался по участку и несколько раз падал от восторга на землю и катался на спине.

Аким Ильич приладил на верстак доску и стал обстругивать ее фуганком. Он работал легко и красиво— фуганок скользил по доске, как длинный корабль с кривою трубой.

Солнце пригревало крепко, и курица под крышей задыхалась. Аким Ильич глядел тревожно на солнце, клонящееся к обеду, и говорил многозначительно:

— Курица тухнет!

Громила Тузик прилег под верстаком, лениво вывалив язык. Сочные стружки падали на него, повисали на ушах и на бороде.

— Курица тухнет!

— Так что ж делать?

— Надо курицу ощипать,— сказал Аким Ильич и подмигнул мне.

И Тузик дружелюбно подмигнул из-под верстака.

— Заводи-ка, брат, костер. Вот тебе и стружка на растопку.

Пока я возился с костром, Аким Ильич ощипал курицу, и скоро забурлил в котелке суп. Я помешивал его длинной ложкой и старался разбудить свою совесть, но она дремала в глубине души.

— Пошамаем, как люди,— сказал Аким Ильич, присаживаясь к котелку.

Чудно было сидеть у костра на нашем отгороженном участке. Вокруг цвели сады, поскрипывали гамаки, а у нас — лесной костер, свободная трава.

Отобедав, Аким Ильич подвесил над костром чайник и запел:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина...

Тузик лежал у его ног и задумчиво слушал, шуршал ушами, будто боялся пропустить хоть слово. А когда Аким Ильич добрался до слов «но нельзя рябине к дубу перебраться», на глаза Тузика набежала слеза.

— Эй, товарищи! — послышалось вдруг.

У калитки стоял какой-то человек в соломенной шляпе.

— Эй, товарищи! — кричал он. — Кто тут хозяин?

Разомлевший было Тузик спохватился и с проклятиями кинулся к забору.

— В чем дело, земляк? — крикнул Аким Ильич.

— В том, что эта скотина, — тут гражданин ткнул в Тузика пальцем, — утащила у меня курицу.

— Заходи, земляк, — сказал Аким Ильич, цыкнув на Тузика, — чего через забор попусту кричать.

— Нечего мне у вас делать, — раздраженно сказал хозяин курицы, но в калитку вошел, опасливо поглядывая на Тузика.

— Сядем потолкуем, — говорил Аким Ильич. — Сколько же вы кур держите? Наверно, десять?

— «Десять»... — презрительно хмыкнул владелец, — двадцать две было, а теперь вот двадцать одна.

— Очко! — восхищенно сказал Аким Ильич. — Куриный завод! Может быть, и нам кур завести? А?.. Нет, — продолжал Аким Ильич, подумав. — Мы лучше сад насадим. Как думаешь, земляк, можно на таком участке сад насадить?

— Не знаю, — недовольно ответил земляк, ни на секунду не отвлекаясь от курицы.

— Но почвы здесь глинистые. На таких почвах и картошка бывает мелкая, как горох.

— Я с этой картошкой совсем измучился,— сказал хозяин курицы.— Такая мелкая, что сам не кушаю. Курям варю. А сам все макароны, макароны...

— Картошки у него нету, а? — сказал Аким Ильич и хитро посмотрел на меня.— Так ведь у нас целый мешок. Бери.

— На кой мне ваша картошка! Курицу гоните. Или сумму денег.

— Картошка хорошая! — лукаво кричал Аким Ильич.— Яблоки, а не картошка. Антоновка! Да вот у нас есть отварная, попробуй-ка.

Тут Аким Ильич вынул из котелка отваренную картофелину и мигом содрал с нее мундир, сказавши: «Пирожное».

— Нешто попробовать? — засомневался владелец курицы.— А то все макароны, макароны...

Он принял картофелину из рук Акима Ильича, посолил ее хозяйственно и надкусил.

— Картошка вкусная,— рассудительно сказал он.— Как же вы ее выращиваете?

— Мы ее никак не выращиваем,— засмеялся Аким Ильич,— потому что мы работники картофельных складов. Она нам полагается как паек. Насыпай сколько надо.

— Пусть ведро насыплет, и хватит,— вставил я.

Аким Ильич укоризненно поглядел на меня.

— У человека несчастье: наша собака съела его курицу. Пусть сыплет сколько хочет, чтоб душа не болела.

На другой же день я купил в керосиновой лавке толковую цепь и приковал картофельного пса к елке.

Кончились его лебединые деньки.

Тузик обиженно стонал, плакал поддельными слезами и так дергал цепь, что с елки падали шишки. Только лишь вечером я отмыкал цепь, выводил Тузика погулять.

Подошел месяц август. Дачников стало больше. Солнечными вечерами дачники в соломенных шляпах вежливо гуляли по шоссе. Я тоже завел себе шляпу и прогуливался с Тузиком, напустив на свое лицо вечернюю дачную улыбку.

Тузик-обманщик на прогулках прикидывался воспитанным и любезным псом, важно поглядывал по сторонам, горделиво топорщил брови, как генерал-майор.

Встречались нам дачники с собаками — с ирландскими сеттерами или борзыми, изогнутыми, как скрипичный ключ. Издали завидев нас, они переходили на другую сторону шоссе, не желая приближаться к опасной картофельной собаке.

Тузику на шоссе было неинтересно, и я отводил его подальше в лес, отстегивал поводок.

Тузик не помнил себя от счастья. Он припадал к земле и глядел на меня так, будто не мог налюбоваться, фыркал, кидался с поцелуями, как футболист, который забил гол. Некоторое время он стремительно носился вокруг и, совершив эти круги восторга, мчался куда-то изо всех сил, сшибая пеньки. Мигом скрывался он за кустами, а я бежал нарочно в другую сторону и прятался в папоротниках.

Скоро Тузик начинал волноваться: почему не слышно моего голоса? Он призывно лаял и носился по лесу, разыскивая меня. Когда же он подбегал поближе, я вдруг с ревом выскакивал из засады и валил его на землю.

Мы катались по траве и рычали, а Тузик так страшно клацал зубами и так вытаращивал глаза, что на меня нападал смех.

Душа у владельца курицы, видимо, все-таки болела.

Однажды утром у калитки нашей появился сержант милиции. Он долго читал плакат про картофельную собаку и наконец решился войти.

Тузик сидел на цепи и, конечно, издали заприметил милиционера. Он прицелился в него глазом, хотел было грозно залаять, но почему-то раздумал. Странное дело: он не рычал и не грыз цепь, чтоб сорваться с нее и растерзать вошедшего.

— Собак распускаете! — сказал между тем милиционер, строго приступая к делу.

Я слегка окаменел и не нашелся, что ответить. Сержант смерил меня взглядом, прошелся по участку и заметил мешок с надписью «Пичугин».

— Это вы Пичугин?

— Да нет, — растерялся я.

Сержант достал записную книжку, что-то чиркнул в ней карандашиком и принялся рассматривать Тузика. Под милицейским взглядом Тузик как-то весь подтянулся и встал будто бы по стойке «смирно». Шерсть его, которая обычно торчала безобразно во все стороны, отчего-то разгладилась, и его оперение теперь можно было назвать «приличной прической».

— На эту собаку поступило заявление, — сказал сержант, — в том, что она давит кур. А вы этих кур поедаете.

— Всего одну курицу, — уточнил я. — За которую заплачено.

Сержант хмыкнул и опять принялся рассматривать Тузика, как бы фотографируя его взглядом.

Миролюбиво виляя хвостом, Тузик повернулся к сержанту правым боком, дал себя сфотографировать и потом повернулся левым.

— Это очень мирная собака,— заметил я.

— А почему она картофельная? Это что ж, порода такая?

Тут я достал из кармана картофелину и бросил ее Тузику. Тузик ловко перехватил ее в полете и культурно скушал, деликатно поклонившись милиционеру.

— Странное животное,— подозрительно сказал сержант.— Картошку ест сырую. А погладить его можно?

— Можно.

Только тут я понял, какой все-таки Тузик великий актер. Пока сержант водил рукою по нечесанному загривку, картофельный пес застенчиво прикрывал глаза, как делают это комнатные собачки, и вилял хвостом. Я даже думал, что он лизнет сержанта в руку, но Тузик удержался.

— Странно,— сказал сержант.— Говорили, что это очень злая картофельная собака, которая всех терзает, а тут я ее вдруг глажу.

— Тузик чувствует хорошего человека,— не удержался я.

Сержант похлопал ладонью о ладонь, отряхнул с них собачий дух и протянул мне руку:

— Растрепин. Будем знакомы.

Мы пожали друг другу руки, и сержант Растрепин направился к воротам. Проходя мимо Тузика, он наклонился и по-отечески потрепал пса.

— Ну, молодец, молодец,— сказал сержант.

И вот тут, когда милиционер повернулся спиной, проклятый картофельный пес-обманщик встал вдруг на задние лапы и чудовищно гаркнул сержанту в самое ухо. Полубледный Растрепин отскочил в сторону, а Тузик упал на землю и смеялся до слез, катаясь на спине.

— Еще одна курица,— крикнул издали сержант,— и все!

Но не было больше ни кур, ни заявлений. Лето кончилось. Мне надо было возвращаться в Москву, а Тузику — на картофельный склад.

В последний день августа на прощанье пошли мы в лес. Я собирал чернушки, которых высыпало в тот год очень много. Тузик угрюмо брел следом.

Чтоб немного развеселить пса, я кидался в него лопухими чернушками, да что-то все мазал, и веселья не получалось. Тогда я спрятался в засаду, но Тузик быстро разыскал меня, подошел и прилег рядом. Играть ему не хотелось.

Я все-таки зарывал на него, схватил за уши. Через секунду мы уже катались по траве. Тузик страшно разевал пасть, а я нахлобучил ему на

голову корзинку вместе с грибами. Тузик скинул корзинку и так стал ее терзать, что чернушки запищали.

Под вечер приехал Аким Ильич. Мы наварили молодой картошки, поставили самовар. На соседних дачах слышались торопливые голоса, там тоже готовились к отъезду: увязывали узлы, обрывали яблоки.

— Хороший год,— говорил Аким Ильич.— Урожайный. Яблочков много, грибов, картошки.

По дачному шоссе пошли мы на станцию и долго ожидали электричку. На платформе было полно народу, повсюду стояли узлы и чемоданы, корзины с яблоками и с грибами, чуть не у каждого в руке был осенний букет.

Прошел товарный поезд в шестьдесят вагонов. У станции электро-воз взревел, и Тузик разъярился. Он свирепо кидался на пролетающие вагоны, желая нагнать на них страху. Вагоны равнодушно мчались дальше.

— Ну чего ты расстроился? — говорил мне Аким Ильич.— В твоей жизни будет еще много собак.

Подошла электричка, забитая дачниками и вещами.

— И так яблоку негде упасть,— закричали на нас в тамбуре,— а эти с собакой!

— Не волнуйся, земляк! — кричал в ответ Аким Ильич.— Было б яблоко, а куда упасть, мы устроим.

Из вагона доносилась песня, там пели хором, играли на гитаре. Раззадоренный песней из вагона, Аким Ильич тоже запел:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина...

Голос у него был очень красивый, громкий, деревенский.

Мы стояли в тамбуре, и Тузик, поднявшись на задние лапы, выглядывал в окно. Мимо пролетали березы, рябины, сады, набитые яблоками, золотыми шарами.

Хороший это был год, урожайный.

В тот год в садах пахло грибами, а в лесах — яблоками.

ОТ КРАСНЫХ ВОРОТ

С братом Борей, дорогим моим братом Борей, мы плыли на лодке по реке Сестре.

Я ленился. Сидел на корме, шевелил босою ногой, подталкивал полуживых подлещиков, пойманных на манную кашу. Подлещики полу-

живые шевелились у моих ног в воде, которая всегда набирается во всякую приличную лодку.

Я-то ленился, шевелил полуживых подлещиков, а Боря — мой дорогой брат — серьезно наваливался на весла.

Боря спешил, торопился Боря, он боялся опоздать на автобус.

В том месте, где река Сестра проходит под каналом, то есть в том самом удивительнейшем месте, где пересекаются река и канал и русло канала в бетонной оболочке проходит над живою рекой, — в этом самом месте я увидел на берегу реки небольшого роста беленькую собачонку.

Собачонка бежала по берегу, а мы с Борей плыли по реке.

Я ленился, Боря спешил, собачонка бежала.

От нечего делать, просто так, из чистого баловства я поманил собачонку пальцем, а после вытянул губы и издал специальный собачий звук, тот звук, которым всегда подманивают собаку. Звук этот записать буквами довольно трудно, он похож на эдакий всасывающий поцелуй. Если попытаться изобразить этот звук буквами, получится что-то вроде «пцу-пцу».

И вот я проделал это самое «пцу-пцу» и сидел себе лениво на корме.

Маленькая беленькая собачонка услышала этот немыслимый звук, поглядела на меня с берега и вдруг бросилась в воду.

Ничего подобного ожидать я никак не мог.

Это ненормальное «пцу-пцу» я произнес нарочно, юмористически. Я подманивал собачонку, прекрасно понимая, что она подойти ко мне никак не может. Это самое «пцу-пцу» подчеркивало разницу наших положений: я — в лодке, а собака — на берегу. Нас разделяла бездна, то есть вода. Никакая нормальная собака в воду не полезет, если ее не подтолкнет хозяин.

Маленькая беленькая собачонка оказалась ненормальной. Она кинулась на первое приглашение, она, не раздумывая, преодолевала бездну. Она плыла ко мне.

Когда она подплыла к лодке, я схватил ее за шкуру и втащил в судно. Маленькая беленькая собачонка чудовищно отряхнулась среди полуживых подлещиков.

Брат мой Боря бросил весла. Он должен был что-то сказать. Но он молчал, он не знал, что сказать. Мое беспардонное «пцу-пцу», реакция собачонки, ее плавание, втаскивание за шкуру и чудовищное отряхивание — все это произошло мгновенно.

Боря не знал, что сказать, а сказать что-то было надо. Старший брат в таких случаях всегда должен что-то сказать.

Я не знаю, что сказали бы в таком случае другие старшие братья, но мой гениальный брат думал недолго.

Строго осмотрев собачонку, он сказал:

— Гладкошерстный фокстерьер.

Брат мой Боря спешил, торопился Боря.

Мигом подогнали мы лодку к тому месту, где стоял на берегу ее хозяин. Мигом отдали хозяину трешку, мигом добавили еще рубль, мигом связали удочки и покидали в мешок подлещиков.

И вот мы уже бежали на автобус. Маленькая беленькая собачонка бежала за нами.

Автобус мчался по шоссе, мы бежали вдоль дороги. И нам, и автобусу надо было сойтись в одной точке, у которой уже толпился народ. Эта точка называлась «Карманово».

Автобус все-таки нас опередил. Он уже стоял, а мы еще бежали, но шофер-добряк видел нас, бегущих, и не торопился отъехать.

Мы добежали, мы ввалились в автобус, мы сбросили рюкзаки, мы уселись на эти особенные автобусные диванчики, мы устроились, и все пассажиры устроились, и мы могли уже ехать.

Шофер почему-то медлил. Может быть, он прикуривал?

Я глянул в открытую дверь автобуса и увидел на улице, на обочине шоссе, маленькую беленькую собачонку, чью породу так верно определил Боря.

Она смотрела в автобус. Шофер медлил или прикуривал. Мы уже сбросили рюкзаки и сидели на этих особенных автобусных диванчиках. Мы отирали мгновенный пот. Боря уже не спешил, он не опоздал. Шофер все прикуривал. Собачонка смотрела в автобус, на меня.

Просто так, от нечего делать, по-лентяйски я сделал губами тот самый немислимый и беспардонный звук, то самое «пцу-пцу», о котором я уже рассказывал.

Маленькая беленькая собачонка ринулась в автобус, мигом спряталась под тот особенный автобусный диванчик, на котором сидел я, и затаилась у моих ног.

Пассажиры автобуса заметили это, но сделали вид, что ничего не заметили. Шофер прикурив, двери закрылись, и мы поехали.

Брат мой Боря должен был что-то сказать. Мое вторичное малопардонное «пцу-пцу», которое привело к известному результату, удивило его. Удивило его и поведение маленькой беленькой собачонки, которая сидела сейчас у моих ног под тем особенным автобусным диванчиком.

Брат мой Боря, мой единственный братик, сказал:

— Гладкошерстные фокстерьеры, — сказал он, — встречаются реже, чем жесткошерстные.

Так и не говорил Боря ничего более, пока мы тряслись в автобусе. Он долго оставался автором этих двух гениальных фраз.

Но когда мы сели в поезд, в электричку, в городе Дмитрове и когда маленькая беленькая собачонка устроилась у моих ног под той особенной деревянной лавочкой, Боря сказал фразу малогениальную.

Я вначале ее даже не услышал, я надеялся, что он не станет ее повторять, я думал, он понимает, что ему никогда в жизни не надо говорить малогениальных фраз.

Но Боря-чудак все-таки повторил ее.

— А что скажет отец? — повторил он.

Что скажет отец, знали, конечно, все. Знал я, и знал мой брат Боря. Все жители нашего дома у Красных ворот знали, что скажет отец.

Отец мой, мой дорогой отец, которого давно уже нет на свете, не любил домашних животных. Он не любил никаких домашних животных, кроме, конечно, лошадей. Он обожал лошадей, и страсть к лошадям погубила в нем возможные страсти к другим домашним животным. Он не любил никаких домашних животных и особенно свиней.

Отец мой в юности, далеко-далеко, в той деревенской своей юности, когда он и не знал, что такое город, в той юности отец имел лошадей.

Сам он их, конечно, не имел, их имел его отец, то есть мой дед. А мой отец пас этих лошадей и гонял их в ночное. На ночь уводил он их из деревни в лес или в поле и пас их, а на рассвете пригонял в деревню. Он не должен был при этом спать, он должен был пасти лошадей. Но он мечтал поспать.

И он привязывал лошадей за веревку к собственным рукам и спал, а они паслись и таскали моего отца на этой веревке по лугам и полям. А он спал. Ему даже нравилось так спать на траве, когда пасущиеся лошади таскают его на веревке.

Однажды он проснулся, подергал за веревку и почувствовал, что лошади здесь, только как-то они «туго стоят». Отирая свои глаза, он взялся за веревку и, перебирая ее руками, пошел к лошадям. И он увидел, что веревка привязана к дубу, а лошадей нету. Лошадей не было, их украли цыгане, а веревку привязали в дубу, пока спал отец мой на траве.

Эта история была решающей и роковой в его жизни.

Потеряв лошадей, отец мой — тогда еще очень молодой человек — напугался. Были утрачены две лошади — кормилицы огромной семьи, и отец не решился явиться под глаз своего отца — моего деда. Он сбежал и после долгих странствий оказался в Москве, где и встретил мою маму.

Потом-то отца моего простили, потом-то из Москвы он пытался помочь моему деду, и все-таки эта история была роковой. Никакая московская помощь не может заменить двух лошадей — кормилиц огромной семьи.

Итак, отец мой не любил никаких домашних животных и особенно свиней. Он обожал только лошадей, но он не имел права обожать их вблизи, он их обожал издали. Сердце его радовалось, когда по улицам Москвы проезжала конная милиция.

Отец смеялся от души, когда видел конную милицию. Его удивляло, как же это так — милиция и вдруг лошади, — это несовместимо. Но это совмещалось на улицах Москвы, особенно когда играли футбольные команды ЦДКА — «Динамо». Тогда бывало отчего-то особенно много конной милиции.

Когда играли «Спартак» — «Торпедо», никакой конной милиции не бывало вовсе. Отчего это происходило, москвичи не понимали.

Отец обожал лошадей. Страсть к другим домашним животным совершенно отсутствовала в его душе, и всем ясно было, что скажет отец, когда увидит маленькую беленькую собачонку, которую он пока не видел и которая сидела пока в электричке Дмитров — Москва у моих ног.

Отец не сказал ничего.

Он даже как будто не заметил маленькой беленькой собачонки. Он был потрясен теми потрясающими событиями, которые происходили тогда на белом свете. И еще он был потрясен событиями, которые происходили в нашей семье.

Потрясенный этими событиями, отец не заметил никакой маленькой беленькой собачонки. То есть никто не заметил, что он ее заметил, кроме, конечно, меня. Я-то прекрасно понял, что отец собачонку видит, но ему, потрясенному многими потрясающими событиями, просто не пристало ее замечать.

Все ожидали, что отец начнет говорить насчет собачьего духу, которого чтоб не было, а он подошел ко мне и негромко сказал:

— Сам.

Повернувшись ко мне спиной, он прошел в кабинет.

Ожидая, что отец скажет насчет духу, которого чтоб не было, никто вначале не понял, что он имел в виду, говоря «сам». Это слово не слишком связывалось с домашними животными.

Но я все понял. Я понял, что «сам» — это я сам. Раньше я был не сам, а теперь сделался сам в связи с теми потрясающими событиями, которые происходили тогда на белом свете и в нашей семье.

Раньше я был младший ребенок, а теперь сделался «сам», и маленькая беленькая собачонка — первый признак моего нового положения. А раз я сделался «сам», я имею право заводить хоть маленькую беленькую собачонку, хоть жеребца, но все это — на мне. Сам пою, сам кормлю, сам воспитываю, сам за все отвечаю. Сам.

Отец сказал «сам», повернулся и прошел в кабинет, а родственники минуты две думали, что означает его фраза, столь короткая и простая.

А на третью минуту все отвлеклись от меня, от слова «сам» и от маленькой беленькой собачонки, которая стояла в коридоре, тесно прижавшись к моей ноге.

На третью минуту мы были забыты. Все в нашей семье были заняты событиями, которые происходили тогда в мире и в нашей семье. В мире происходили тогда события, которые всем известны, а в нашей семье женился Боря. Три дня оставалось до его свадьбы.

Нас позабыли, нас отправили спать, а сами на кухне долго еще обсуждали то, что должно было произойти через три дня.

Глубокой ночью Боря вошел в комнату, где я пытался уснуть и где спала, посапывая, у меня под кроватью маленькая беленькая собачонка.

— Как ее звать-то? — спросил Боря. — Как ты хочешь назвать эту собачонку из группы терьеров?

— Знаешь, — сказал я, — мне хочется назвать ее Миледи.

— Миледи? — удивился Боря.

— Миледи, — признался я.

Я тогда очень любил эту книгу, «Три мушкетера», и давно уже решил, если у меня будет собака, назвать ее Миледи.

— Миледи, — сказал Боря. — Красивое имя. Только извини, братишка, это имя собаке никак не подходит.

— Почему же? — замирая, спросил я.

— Потому что это явный Милорд.

С братом Борей, дорогим моим братом Борей творились чудеса. Боря бледнел на глазах, он бегал по городу и по квартире, он разговаривал по телефону на английском языке. Меня и собачонку он вовсе не замечал, и я понял, что надо потерпеть, надо переждать, пока кончится его гениальная свадьба и Боря придет в себя и вернется ко мне и к маленькой беленькой собачонке.

Боря бледнел, звонил по-английски, а я присматривался к собачонке, которая внезапно получила наименование Милорд.

Я всю жизнь терпеть не мог маленьких беленьких собачонок. И в особенности тех, у которых были такие розовые глазки, принакрытые бровками.

Розовые, розовые, розовые глазки!
Из-за вас
в который раз
хожу на перевязки.

Я не понимал, как можно ходить на перевязки из-за такой чепухи. Беленьких собачонок с розовыми глазками я не считал собаками. Для меня это были бегающие шампиньончики.

Я питал страсть к гончим псам, к благородным сеттерам — ирландским и гордонам, я уважал дратхааров, преклонялся перед западносибирской лайкой.

Впрочем, Милорд не был таким уж маленьким и беленьким. Его нельзя было назвать шампиньончиком.

Для фокстерьера у него был хороший рост, а белую его рубашку украшали черные и коричневые пятна. Одно ухо — черное, а вокруг глаза расширялось коричневое очко, симпатично сползающее к носу. И никаких розовых глазок — осмысленные, карие, с золотинкой.

И все-таки для моих широких собачьих воззрений Милорд был мелковат. Его можно было назвать словом «кобелек», и это меня огорчало. Чего уж там — «кобелек», надо бы — «кобель».

Боря, братик мой дорогой, по телефону говорил на английском языке для секретности обстановки. Но мне ясно было, что говорит он со своей воздушной невестой, которая этот язык понимает, а мне надо пока обождать. И я ждал, размышляя, совпадает ли Милорд с широтой моих собачьих воззрений? Не шампиньончик ли он? Все-таки я приходил к выводу, что он хоть и кобелек, но не шампиньончик.

Странно все-таки это получилось, что у меня объявился Милорд. Мое беспардонное «пцу-пцу» почему-то показалось ему столь замечательным, что он, не раздумывая, бросился в воду. Не обещал ли я ему чего-нибудь лишнего, когда исторгал этот немислимый звук?

Но что, собственно, обещает собаке человек, когда произносит «пцу-пцу»? Да ровно ничего, кроме сухарика и легкого потрепывания за ухо. И Милорд получил это сразу же, в лодке. На всякий случай он побежал за мной к автобусу, ожидая, не перепадет ли ему еще чего-нибудь.

И ему перепало второе «пцу-пцу», решающее. И он ринулся в автобус.

Он выбрал меня, он порвал с прошлым. И я принял его.

Судьба точным движением свела нас в одной точке.

Самое же удивительное было то, что отец сказал «сам». Это слово подтверждало точное движение судьбы. Она свела нас в одной точке в тот самый момент, когда Милорду был нужен я, мне — он и когда отец не мог ничего возразить.

Судьба точным движением свела нас в одной точке, и точку эту надо было понемногу расширять. Брат мой Боря разговаривал по-английски, а мы расширяли точку. Впрочем, пока не до безумных размеров. Мы гуляли у Красных ворот.

У Красных ворот стоял наш дом — серый и шестизэтажный, эпохи модернизма. Но не в серости его и шестизэтажности было дело. Важно было, что он стоял у Красных ворот.

Я гордился тем, что живу у Красных ворот.

В детстве у меня была даже такая игра. Я выбегал к метро и спрашивал у прохожих:

— Ты где живешь?

— На Земляном или на Садовой,— отвечали прохожие.

— А я у Красных ворот.

Это звучало сильно.

Обидно было, конечно, что никаких ворот на самом деле не было, не существовало. Они стояли здесь когда-то давно-давно, а теперь на их месте построили станцию метро. Эта станция, построенная в эпоху серого модернизма, могла сойти и за ворота, но то были ворота под землю, а ворота под землю никогда не могут заменить ворот на земле.

Не было, не было Красных ворот, и все-таки они были. Я не знаю, откуда они брались, но они были на этом месте всегда. Они даже как будто разрослись и встали над метро и над нашим домом.

Гениальная свадьба моего брата Бори разыгралась не на шутку.

Стол был завален невиданным количеством куриных ног и салатов. Всюду сияли фрукты.

Известный в те годы в Москве гитарист-хулиган Ленечка играл на гитаре «чесом» «Свадебный марш» Мендельсона. У рояля строго безумствовал маэстро Соломон Мироныч.

Было много гладиолусов.

Невеста с божественным именем Ляля была воздушна.

Крик «горько» бушевал как прибой, плавно переходя временами в «Тонкую рябину».

Боже, кого только не было на этой сногшибательной свадьбе! Были, конечно, и Голубь, и Литвин. Был величайший человек нашего дома, а впоследствии дипломатического мира блистательный Сережа Дивильковский. Была Танька Меньшикова, были Мишка Медников и Вовочка Андреев... Нет, постой, Вовочки вроде не было. А кто же тогда играл на аккордеоне-четвертинка?

А вот Бобы Моргунова не было. Боба должен был бы быть на моей свадьбе, которая впоследствии не состоялась.

Ну уж а Витька-то был. Как же не быть Витьке-то по прозвищу Старик?! Был Витька, был!

Со двора в открытые окна врывался свист шпаны. Шпана свистела весь вечер, но это было слишком. Я уже вынес ей три бутылки портвейна, сала и пирогов.

После полуночи слышались крики:

— «Мальчик веселый!» «Мальчик веселый!»

Это на эстраду вызывали меня. Это означало, что «Темная ночь»

и «Бесамемуча» уже отторели. Требовался «Мальчик веселый», и я вылетел под свет свадебных прожекторов.

Мазстро Соломон Мироныч ударил вступление, гитарист-хулиган прошелся «чесом», Боря ласково улыбнулся мне, и я запел.

Эту песню про веселого мальчика меня заставляли петь всегда. Считалось, что я пою ее изумительно и особенно с того места, где начинается «Ай-я-йяй». Эту песню я люто ненавидел и особенно с того места, где начиналось «Ай-я-йяй».

Но вступление было сыграно, Боря улыбнулся, а я никогда в жизни не мог его подвести.

Лихо надета на бок папаха,
Эхо разносит топот коня,—

начал я тоненьким голосочком, в котором чувствовался некоторый грядущий топот копыт,—

Мальчик веселый из Карабаха,
Так называют люди меня.

И далее следовало чудовищное по своей безумной и неудобоваримой силе «Ай-я-йяй».

Меня слушали недоверчиво и тупо, как вообще слушают подростков-переростков, но я-то понимал, что на предпоследнем «яй» слушатели лягут. И слушатели это недоверчиво понимали и тупо хотели лечь, только лишь бы я это сделал. И я это сделал, и они легли.

И они еще лежали, когда я предложил им:

Пейте, кони мои!
Пейте, кони мои!

Лежащих надо было поднимать, надо было их напоить, и им самим хотелось подняться и напиться, только лишь бы я это сделал. И я это сделал, и они поднялись и напились, и каждый второй из них чувствовал себя воронным конем.

Рухнул аплодисмент, кони кинулись к влаге, мелькнуло несколько гладиолусов, а я уже и сам-то ничего не понимал. Понимал только, что уже утро, рассвет, что, держа в руках бутылку мадеры, меня и Милорда ведет к себе ночевать Ленечка, известный в те годы в Москве гитарист-хулиган.

Боря, мой единственный брат, уехал от нас навечно. Он уехал к своей воздушной невесте, к которой мы так спешили тогда с подлещи-

ками и с Милордом. А мне этого не сказали, что Боря уехал навечно, я думал, что ненадолго, как будто в военный лагерь, на переподготовку. И я его ждал ежедневно, потому что жить без него я никогда в жизни не мог.

Иногда Боря вдруг приезжал и ласково смотрел на меня, расспрашивал про Милорда и про те другие важные дела, которые мне предстояли, но родители быстро перехватывали у меня брата и долго разговаривали с ним, и Боря уезжал.

И все изменилось в жизни, все изменилось, но я еще не понимал, что все изменилось, я толковал себе, что Боря как бы в военном лагере на переподготовке.

А Боря жил теперь у Ляли. И это было далеко от Красных ворот. Он жил теперь на Смоленском бульваре.

И если долго-долго, полдня, идти по Садовому кольцу налево — можно дойти пешком до Смоленского бульвара. А если долго-долго, полдня, идти по Садовому кольцу направо — тоже можно дойти до Смоленского бульвара.

В метро и в троллейбус с Милордом меня не пускали, и мы ходили по Садовому — то налево, то направо — и всегда добирались до Смоленского бульвара.

Самое удивительное, что никакого бульвара на Смоленском бульваре не было. Там, на Садовом кольце, стояли только серые и желтые дома. И все-таки он был, был там бульвар. Были и деревья и листья, только не было их видно, как не было видно и наших Красных ворот.

Боря меня ласково встречал, и Ляля кормила воздушным обедом, а мне уже пора было домой, на обратную дорогу оставалось полдня.

От Смоленского бульвара я шел по Садовому кольцу к Красным воротам, и мне казалось, что я потерял брата. Тогда я еще не понимал, что брата потерять невозможно.

Милорд — вот кто меня веселил.

Он был умен, а следовательно, интеллигентен. Ни о чем я не просил его дважды, и он меня ни о чем не просил и никуда не просился. Он просто жил рядом со мной, как небольшая тень у правого ботинка.

Рано утром, вставая с кровати, я опускал на пол босые ноги, и тут же из-под кровати вылезал Милорд и лизал меня в пятку. Он не бегал бешено по комнате, радуясь моему пробуждению, он просто сидел рядом с босою ногой, которая постепенно становилась обувью.

Далее мы двигались вместе — я и Милорд у моего ботинка. Раньше я и сам двигался возле ботинка старшего брата, а теперь, когда Боря уехал, у моего ботинка появился Милорд.

Произошла замена, и я пока не понимал, что лучше: самому дви-

гаться у некоторого ботинка или двигать своим ботинком, у которого некто двигается.

Я все-таки желал двигаться у Бориного ботинка, и одновременно пускай бы у моего ботинка двигался Милорд.

Но этого мне не было дано, и спасала только мысль о военной переподготовке.

После завтрака мы с Милордом отправлялись во двор.

Утром во дворе совершенно не было никакой шпаны, и мы с Милордом вдвоем гуляли у фонтана.

От нечего делать я учил Милорда стоять у меня на голове.

Дело это было сложным. Прыгнуть прямо ко мне на голову Милорду не удавалось — не допрыгивал, и в конце концов я подсаживал его на верхнюю гипсовую розу фонтана, и Милорд перебирался с нее ко мне на голову. В те годы я носил довольно-таки крепкую кепку, которая помогала в наших опытах.

С Милордом на голове гулял я у фонтана, поджидая хоть какой-нибудь, хотя бы мелкой шпаны.

Но тут с третьего этажа моя тетушка начинала громко через форточку на весь двор называть по имени мое имя. Она всячески намекала на те важные дела, которые мне предстояли и которые в будущем должны были провести резкую грань между мной и уличной шпаной.

Голова и ботинок — вот предметы, которые я предоставил Милорду, но частично голова моя была занята и другими предметами. Я готовился в институт.

Все в нашем дворе, конечно, понимали, что в институт мне в жизни не поступить. Понимал это я, понимал это и брат мой Боря, понимали школьные учителя, разве только Милорд ничего не понимал. Но, пожалуй, даже и он догадывался, что человек, который носит на голове гладкошерстного фокстерьера, вряд ли поступит в педагогический институт.

Но жил на свете Владимир Николаевич Протопопов, который не понимал, что я не поступлю. Он понимал, что я поступлю, и мне было неловко знать, что я провалюсь и подведу Владимира Николаевича Протопопова.

Владимир Николаевич был великий учитель. Превратить двоечника в троечника для него было пара пустяков. Один только вид Владимира Николаевича — его яростная борода и пронзительный взгляд — мгновенно превращал двоечника в троечника.

Когда же Протопопов открывал рот и слышались неумолимые раскаты, новообретенному троечнику ничего в жизни не оставалось, кроме последней мучительной попытки превращения в четверочника.

— А дальше уже от бога, — решал обычно Владимир Николаевич.

Брат мой Боря, тяжелейший в те времена двоечник-рецидивист, рассказывал, как Владимир Николаевич Протопопов впервые вошел к ним в класс поздней осенью сорок шестого года.

Дверь их класса вначале сама по себе затряслась.

Она тряслась от волнения и невроза. Она чувствовала, что к ней кто-то приближается, а кто — не понимала. У нее дрожали зубы, ее бил озноб, и с грохотом наконец дверь распахнулась.

Мохнатейшая шапка-ушанка, надвинутая на самые брови, из-под которых блистали пронзительные стальные глаза, возникла в двери — и явился Протопопов.

Он был, как я уже подчеркивал, в шапке, а на правом его плече висел рюкзак. Кроме того, он был в черном костюме и в галстук, но именно шапка и рюкзак вспоминались впоследствии, а галстук и костюм позабылись.

Стремительным и благородным каким-то полушагом-полупрыжком Владимир Николаевич достиг учительского стола и грозно проведился:

Как с древа сорвался предатель ученик...

Ученики, которые успели встать, чтоб поприветствовать учителя, остолебели у парт своих, те же, что встать не успели, так и замерли в полусидячем-полустоячем положении.

Владимир Николаевич между тем впал в тяжелейшую паузу. В глазах его было предельное внимание. Он явно следил, как срывается ученик-предатель с воображаемого древа и летит в бездну.

Бездна эта была бездонна, и поэтому пауза могла тянуться сколько угодно. И все ясно было, что, пока летящий предатель не достигнет чего-нибудь, обо что можно вдребезги расшибиться, Протопопов будет следить за его полетом.

И тут послышался страшный удар. Это Протопопов обрушил с плеча на стол свой рюкзак.

И всем ясно стало, что предатель достиг чего-то и расшибся вдребезги. Это была мгновенная и страшная смерть.

Протопопов протянул было руку к шапке, хотел было снять ее, но раздумал.

После смерти образовалась пустота.

В пустоте же этой медленно начинало что-то копошиться, зашуршало что-то, а что — было непонятно.

— Дьявол прилетел, — прошептал Протопопов. — К лицу его приник.

И Владимир Николаевич отвернулся от этой картины, ему неприятно было видеть все это. Но объяснить происходящее было все-таки не-

обходимо, и он сделал это крутыми и сильными словами:

...Дхнул жизнь в него, взвился с своей
добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны
голодной...

Владимир Николаевич пошарил многозначительно в рюкзаке и вытащил из него австрийский обоюдоострый штык, потом достал буханку хлеба и снял, наконец, шапку. Врезал штыком буханку и начал есть хлеб.

Ученики окончательно окоченели.

Они не поняли ничего, кроме того, что столь знакомое им слово «ученик» неприятно сочетается со словом «предатель». А некоторые ребята попроще и дело поняли просто: если они будут плохо учиться — «диавол» будет в них «жизнь дхать». Борода же Владимира Николаевича, в которой исчезала краюха хлеба, всем без исключения представилась вратами, ведущими в «гортань геенны голодной».

Владимир Николаевич, поедая хлеб, лукаво поглядывал на учеников и бормотал, кивая кое на кого из класса:

Им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни...

Окоченевшие ученики немедленно почувствовали себя гагарами, и многим мучительно захотелось, чтоб наслаждение битвой жизни сделалось им доступно.

Владимир Николаевич разглядывал класс и кое-кому неожиданно подмигивал. Подмигнул он и моему брату Боре. И Боря тогда понял, что еще не все потеряно, что ему, может быть, удастся вырваться из семейства гагар.

Некоторые же ученики, наверно, из тех, кому Протопопов не подмигнул, сделались недовольны, что учитель на уроках хлеб ест. И тогда Владимир Николаевич встал и мощно раздробил недовольство:

А судьи кто? — За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима...

Владимир Николаевич совершил чудо.

Он вырвал моего брата Бору из семейства гагар-рецидивистов и направил Борины стопы в более высокие отряды пернатых, туда, поближе к уровню вальдшнепов и лебедей.

Он совершил чудо, а сам ушел из школы, в которой учился мой дорогой Боря, а затем я.

Радость моих родителей по поводу того, что Боря выбрался из гагар, омрачалась тем, что я еще болтался в гагарах. Считалось, что только Владимир Николаевич может поставить меня на крыло, и он взялся за это тяжелейшее дело.

Поздним вечером, часов в одиннадцать, я выходил из дому. Я шел к Владимиру Николаевичу Протопопову.

От Красных ворот, которые стояли над метро и над нашим домом, я шел по Садовой-Черногрязской к Земляному валу, там сворачивал налево, и вот уже школа в Гороховом переулке. Здесь-то и дробил Владимир Николаевич твердыню моего гагарства, приобщал меня к уровню полета вальдшнепов.

Делал он это ночью. Днем у него не было никакого времени, и, кроме того, он считал, что ночью гагарство мое дает слабину.

Когда я приходил, Владимир Николаевич сидел обыкновенно в пустой учительской и проверял тетради.

Заприметив меня, он смеялся весело, от всей души и бил меня в грудь кулаками. И я смеялся, уворачиваясь от довольно-таки тяжелых ударов, которыми приветствовал меня мой учитель.

Настучавшись в мою грудь и раскрыв таким образом душу мою для знаний, Протопопов заваривал сверхкрепчайший чай и набивал трубку «Золотым руном» в смеси с табаком «Флотским».

И мы начинали пить чай.

Владимир Николаевич учил меня, как набивать трубку и как заваривать сверхкрепчайший чай, и ему нравилось, как я справлялся с этой человеческой наукой.

Потом Владимир Николаевич снова начинал проверять тетради, а я ему, как мог, помогал.

В этом и был главный смысл ночного протопоповского урока: мне, потенциальному двоечнику и другу гагар, великий учитель доверял проверку сочинений, авторы которых, возможно, бывали и старше и грамотней меня.

Одним махом Протопопов убивал многих зайцев.

Он не только выжимал до предела скудные мои знания, не только напрягал внимательность, обострял ответственность и возбуждал решительность, но и внедрял в меня некоторые сведения из проверяемых мною же тетрадей. А когда я поднаторел, Владимир Николаевич убил еще одного зайца: я немного все-таки облегчал гору его тетрадей.

Он доверял мне даже ставить отметки — двойки и четверки. Тройки и пятёрки он ставить не велел. И в этом заключалась любопытная его мысль.

Он, конечно, понимал, что мне, как другу гагар, двойки несимпатичны. Я и вправду их очень не любил и всегда старался «натянуть на

тройку». Мне казалось преступным ставить двойки бедным гагарам из другой школы. Если уж я ставил двойку — это был трагический, но, увы, бесповоротный факт. Оставалось только снять шапку.

Тройки Протопопов за мною перепроверял, а пятерки всегда считались от бога, и тут Владимир Николаевич должен был глянуть сам.

Ну а четверка — пожалуйста. Четверку он мне доверял, тут наши мнения никогда не расходились, и я гордился этим.

Проверив тетрадки, я раскладывал их на четыре кучки — двойки, тройки, четверки и пятерки.

— Учитель! — шутил тогда Владимир Николаевич и бил меня в грудь кулаком. — Перед именем твоим позволю смиренно преклонить колени...

И тут он перепроверял за мной тройки и пятерки. Наткнувшись на какую-нибудь мою глупость или недоразумение, он недовольно бурчал:

— Гагарство... — И ногтем подчеркивал то место в тетради, где находилась моя глупость или недоразумение.

Глупость моя или недоразумение никогда не сопровождалось протопоповским кулаком. Кулак был от радости, от счастья, а тут вступал в силу ноготь. Он упирался в то место тетради, где я допустил гагарство, а если я ничего не понимал, сопровождался жесткими ногтеобразными словами.

Потом я засыпал наконец на кожаном учительском диване и, просыпаясь иногда, видел, как сидит мой учитель за столом, пьет чай, курит трубку и все проверяет, проверяет бесконечные тетради и сверкают его добрейшие стальные глаза. Владимир Николаевич Протопопов не спал никогда.

Как-то зимней метельною ночью и на меня напала бессонница, а в бессоннице пришло вдруг некоторое озарение, и я написал стихи:

Метели летели,
Метели мели,
Метели свистели
У самой земли...

Владимир Николаевич смеялся, как ребенок, колотил меня в грудь кулаками, а потом вдруг вскочил, в каком-то чудовищном мгновенном плясе пронесся по учительской, напевая:

Летели метели
В розовом трико!

Я был потрясен. Меня поразило, как Владимир Николаевич неожиданно всплясал. Удивляло и то, что кто-то уже написал про метели, значит, озарение мое было не в счет и все это пахло недопустимым гадарством.

Были однажды поздние дни мая.

Владимир Николаевич под утро разбудил меня. Полусонного подвел к окну. В сизом школьном окне виднелись пасмурные в утренних сумерках ветки тополя, скользкие от росы листья.

Мы смотрели в окно.

Владимир Николаевич задумался и даже немного обнял меня, чего никогда раньше не делал. Потом спохватился и ударил кулаком в грудь.

— Был утренник,— сказал он. Помолчал. Продолжил: — Сводило челюсти...

Я уже ожидал удара в челюсть, но снова получил в грудь.

...И шелест листьев был как бред.

Синее оперенья селезня

Сверкал за Камою рассвет.

Крепкий удар, завершающий строфу.

Так Владимир Николаевич Протопопов вколачивал в меня поэзию.

Итак, в нашем дворе все понимали, что в институт мне сроду не поступить.

Понимал это я, понимал это мой брат Боря, понимали школьные учителя. Не понимал только Владимир Николаевич Протопопов. Он понимал, что я поступлю, и я поступил.

Шквал и шторм обрушились тогда на меня. Сердце мое трещало от семейного счастья, грудь гудела от протопоповских кулаков, шпана свистела в окна, брат мой Боря ласково улыбался, гитарист-хулиган играл «чесом», у рояля безумствовал маэстро Соломон Мироныч, а на голову мне то и дело вспрыгивал Милорд, который к этому моменту научился летать.

Надо сказать, что проблема полета домашних животных никогда особенно не занимала меня, а в период подготовки к экзаменам я не мог уделять этому делу никакого времени.

Просто-напросто, отбросив учебники, я выходил с Милордом к фонтану.

К нам присоединялось и некоторое третье лицо — тонкий кожаный поводок, который я пристегивал к ошейнику собаки. Дома пристегивал поводок, у фонтана отстегивал.

Поводок был необязателен. Милорд сам по себе ходил у моего ботинка. Но все приличные владельцы собак имели поводки. Поводок счи-

тался важным звеном, связывающим человека с собакой, и я это звено имел.

Это кожаное тоненькое, но крепкое звено Милорд ненавидел. Он не понимал его смысла. Он считал, что нас связывает нечто большее.

Как только я отстегивал поводок у фонтана, Милорд немедленно принимался его грызть.

Это сердило меня. Я не мог каждый день покупать связывающие нас звенья. И я старался отнять у Милорда кожаное изделие.

Уступчивый обычно Милорд оказался здесь на редкость упрям. Я не мог выдрать поводок из его зубов. Фокстерьеры вообще славятся мертвой хваткой, и Милорд поддерживал эту славу изо всех сил.

С мертвой хватки и началась необыкновенные полеты Милорда.

Однажды у фонтана он вцепился в поводок особенно мертво. Так и сак старался я расцепить его зубы и спасти поводок. Многие жители нашего двора повысовывались в окна, потому что у фонтана слышалось грозное рычанье и мои крики в стиле: «Отдай! Отцепись!»

Оконные зрители раздражали меня, я дергал поводок все сильнее. Милорд же все сильнее упирался и сквозь зубы рычал.

Я затоптался на месте, туго натянув поводок, закружился, и Милорду пришлось бегать вокруг меня. Я затоптался быстрее — Милорд не успевал переставлять ноги, они уже волочились и вдруг оторвались от земли.

Низко, над самой землею летал вокруг меня Милорд. Он рычал, но поводок изо рта не выпускал.

Я кружился все быстрее, Милорд подымался в воздухе все выше и скоро достиг уровня моей груди.

Голова у меня у самого уже закружилась, но я поднял его в воздух еще выше, и вот он летал на поводке в воздухе высоко у меня над головой.

Зрители остекленели в окнах.

Никогда в жизни ни одна собака не летала еще в нашем дворе вокруг фонтана.

Наконец чудовищная центробежная сила разжала мертвую хватку, Милорд отпустил поводок и, подобно лохматому и рычащему булыжнику, выпущенному из пращи, полетел от меня над фонтаном.

Он врезался задом в окно первого этажа, которое, впрочем, было затянато крепкою стальною противобудильной сеткой.

Отпружинив от сетки, Милорд снова ринулся ко мне, вцепился в ненавистный поводок, и я снова закрутил его над фонтаном.

Необыкновенные полеты гладкошерстного фокстерьера сделались любимым зрелищем мелких жителей нашего двора и крупной уличной шпаны. Когда мы гуляли у фонтана, вокруг нас всегда топтались темные

типы с просьбою «повертеть Милорда». Я же, отупевший от собственных успехов, частенько уступал их просьбам.

Я раздраживал Милорда поводком, давал ему покрепче ухватиться и начинал, как волчок, крутиться на месте, постепенно отрывая собаку от земли.

Иногда мне удавалось угадать момент, когда чудовищная центробежная сила должна была вот-вот победить мертвую хватку, и я постепенно опускал собаку на землю. Большей же частью этот момент угадать мне не удавалось, и чудовищная центробежная сила побеждала мертвую хватку, и, подобно булыжнику, выпущенному из пращи, Милорд улетал от меня над фонтаном и попадал задом в окно первого этажа, затянутое крепкою стальною сеткой.

А там, за этим окном, всегда, и даже летом, готовила уроки отличница Эллочка, и многие считали, что я нарочно целюсь в ее окно своей летающей собакой.

Но, хотя Эллочка всегда внутренне притягивала меня, я никогда в ее окно Милордом не прицеливался. Глубокий внутренний интерес, который я чувствовал к Эллочке, как-то сам по себе воплощался в собачьем полете, и как же, наверно, удивлялась Эллочка, когда, оторвав свои очи от бледных ученических тетрадей, вдруг видела, как в окно ее летит по воздуху задом гладкошерстный фокстерьер.

Летающий Милорд не всегда попадал в это чудесное окно. Иногда улетая от меня, он врзался в прохожих, опрокидывал урны. Голубчик, он вовсе не обращал внимания на то, во что врзался. Ему явно нравилось летать, и, врезавшись во что-то, он тут же вскакивал на ноги и мчался ко мне, готовый вступить в мертвую схватку с чудовищной центробежной силой.

Пришел месяц сентябрь, и я вступил под своды Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина.

«Под своды» — это сказано правильно. Институт наш имел как-то особенно много сводов, куда больше, чем все другие московские вузы. И главный, стеклянный его свод увенчивал крупнейший Главный зал. А в Главном зале нашего института свободно мог бы уместиться шестиэтажный дом эпохи модернизма.

Прохлада и простор — вот какие слова приходят мне на ум, когда я вспоминаю Главный зал нашего института. Луч солнца никогда не проникал сквозь его стеклянный потолок, здесь всегда было немного пасмурно, но пасмурный свет этот был ясен и трезв. Что-то древнеримское, что-то древнегреческое чудилось в самом воздухе этого зала, и только особенный пасмурно-серебряный свет, заливающий его пространство, подчеркивал северность этого храма науки.

А на галереях, усложненных пилястрами и балюстрадами, на галереях с элементами колоннад было еще много сводов, а под сводами этими... боже! Чего только не бывало под этими сводами! Какие вдохновенные лица горели на галереях и блистали на кафедрах, какие диковинные типы толкались у колонн и толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени. Только лишь один простой перечень славных имен занял бы сотню самых убористых страниц, и нет никаких сил составить такой перечень, но и удержаться безумно трудно.

Ну вот хотя бы — Юрий Визбор. Ну Юлий Ким. Ну Петр хотя бы Фоменко, ну Юрка Ряшенцев, ну Лешка Мезинов, ну Эрик Красновский... Нет, не буду продолжать, иначе мне никогда не вырваться из-под магического знака великих и родных имен, так и буду вспоминать, так и буду перечислять до конца дней своих, забросив к чертовой матери детскую и юношескую литературу. Да ведь и как забыть эти лица, освещенные вечным пасмурным светом, льющим с наших северных небес в глубину Главного зала? Вот, скажем, Алик Ненароков? И не только он! А Гришка-то Фельдблюм? А Валерка Агриколянский?

А какие же ходили здесь девушки! Да что же это за чудеса-то бежали тогда по бесконечным нашим лестницам и галереям?! Бог мой, да не я ли отдал в свое время всю жизнь за Розу Харитонову? Невозможно и невыносимо просто так, без сердечного трепета называть имена, которые всдыхивали тогда под пасмурным серебряным и стеклянным нашим потолком. И я трепещу, и вспоминаю, и буквально со слезами полными глаз думаю... Впрочем, хватит слез и глаз, но вот еще одно имя — Марина Кацаурова.

Именно из-за нее притащил я в институт Милорда.

Посреди Главного зала, под северным и серебряным нашим стеклянным потолком, раскрутил я Милорда. Чудовищная центробежная сила взяла верх над мертвою фокстерьерской хваткой — и рычащий Милорд полетел над головами доцентов и врзался в почетнейшую доску, на которой было написано: «Славные соколы-стипендиаты».

Запахло отчислением.

Дня через два меня пригласил в кабинет наш именитый декан Федор Михайлович Головенченко. На его имя подали докладной конспект, в котором описывалось мое поведение. Среди прочих оборотов были в нем и такие слова: «...и тогда этот студент кинулся собакой в доску».

— «И тогда этот студент,— читал мне Федор Михайлович, многозначительно шевеля бровями,— кинулся собакой в доску».

И Федор Михайлович развел величаво философские брови свои.

— Что же это такое-то? — сказал он. — «Кинулся собакой». Вы что же это — грызли доску? Тогда почему «кинулся собакой в доску»? Надо бы — «на доску». Или студент был «в доску»? Что вы на это скажете?

Я панически молчал. Я не мог подобрать ответ, достойный великого профессора.

— Впрочем, — размышлял Федор Михайлович. — Следов погрыза или другого ущерба на доске не обнаружили. Доска, слава богу, цела... Но поражает словесная фигура: «...и тогда этот студент кинулся собакой в доску». Что же это такое?

— Извините, мне кажется, что это — хорей, — нашелся наконец я.

— Хо-рэй? Какой хо-рэй?

— Четырехстопный.

— В чем дело? О каком вы хо-рее?

— «И тогда этот студент кинулся собакой в доску»... Я полагаю, что это хорей, Федор Михайлович, но с пиррихием.

Федор Михайлович воздел длани к сводам и захохотал.

— Божественный хо-рэй! — воскликнул он. — Божественный хорей! И он еще рассуждает о хо-рее! Подите вон, знаток хорэя, я не желаю больше думать о собаке и доске!

Я попятился, наткнулся на какое-то кресло, замялся в дверях, не понимая, прощен ли я.

— О, закрой свои бледные ноги! — воскликнул тогда декан, и, бледный, закрыл я дверь деканата.

Оказалось все-таки, что я прощен, но потом не раз вспоминал заключительную фразу профессора. Я не мог понять, почему великий декан, декан прощая меня, привел классический пример одностопишия — «О, закрой свои бледные ноги». Наверно, мой жалкий вид не мог возбудить в его памяти никаких стихов, кроме этих.

Больше я Милорда в институт, конечно, не водил. Но как же плакал и рыдал он, когда я уходил из дому, он забивался под кровать и лежал там в тоске, нежно прижавшись к старому моему ботинку. Сердце разрывалось, но я ничего не мог поделать — собака есть собака, а студент есть студент.

К концу сентября Милорд совершенно зачах. Огромное разочарование наступило в его жизни. Ему казалось, что он нашел ботинок, возле которого можно двигаться всю жизнь, а ботинок этот удвигался каждое утро в педагогический институт.

В первое воскресенье октября я повез его в лес, на охоту.

Была тогда странная осень.

Золото, которое давно должно было охватить лес, отчего-то запылало — ни золотинки не виднелось в березняках, ни красной крапинки в осинах. Сами березовые листья как-то неправильно и стыдливо шевелились под ветром. Им неловко было, что они еще такие зеленые, такие молодые, а давно уж должны были озолотеть.

Я шел вдоль болотистого ручья, медленно постигая берега его.

Я ждал уток, и они взлетали порой, и первым подымался селезень, а следом — утка, и только потом, в небе, они перестраивались иначе — первой шла утка, а за нею — селезень. Впрочем, осенью всегда трудно разобраться, где утка, где селезень, не видно было немислимо-зеленой весенней селезневой головы, только по взлету и полету можно было догадаться, где кто.

Странная была тогда осень. Утки отчего-то разбились на пары, а надо было им собираться в стаи и улетать на юг.

Утки, разбившиеся на пары, и листья, которые не желали золотеть, изо всех сил затягивали лето.

Я иногда стрелял. Милорд при звуках выстрелов выскакивал высоко из травы, выглядывая улетающую добычу. Он не понимал меня и моей стрельбы, потому что в душе не был, конечно, утятником. Его тянуло в лес. Мне же хотелось подбить утку, чтоб Милорд понял в конце концов, что не зря поклонялся моим сапогам и ботинкам.

Было любопытно, как он поведет себя, когда я подобью утку. Сообразит, что ее нужно подать из воды, или нет? Я был уверен, что сообразит.

Наконец какой-то селезень зазевался. Он только еще начал хлопать крыльями, чтоб подняться с воды, как я врезал дробью ему под крыло. Утка, скрежеща крыльями, ушла.

Селезень бил крылом по воде совсем неподалеку, надо было перепрыгнуть ручей, чтобы достать его. В азарте я позабыл, что решил поручить это дело Милорду, и прыгнул.

Я прыгнул с трясинистого берега, и нога, которой я оттолкнулся, прижавзла немного, трясина прихватила сапог, сняла его с ноги наполовину, и пока я перелетал с берега на берег, сапог отпал с моей ноги и упал в неприятную ржавую жижу.

Очутившись на другом берегу, я не сразу сообразил, что делать: спасать сапог или бежать к селезню, который все еще бил крылом по воде.

Милорд сообразил сразу. Он кинулся в ржавую жижу, схватил сапог, выгтащил на берег и уложил точно у правой ноги, на которую сапог приходился. Потом пробежал по берегу, быстро достал селезня и положил к левой обутой ноге.

А к полудню попали мы в лес — настоящий матерый сосняк. Сосны росли на буграх, и не было больше никаких деревьев — сосны, сосны, а на открытых солнцу песчаных откосах восходил к небу необыкновенный, униженный синими морозными ягодами можжевельник.

Я разложил костер. Мне хотелось накормить Милорда утиным супом, но, пока я возился да раздувал огонь, Милорд исчез.

Этого не бывало никогда. Милорд всегда кружился у моего ботин-

ка. Я вдруг сильно напугался, свистел и кричал, бегал по лесу и, когда вернулся к костру, услышал далекий собачий лай.

Это был голос Милорда, и шел он из-под земли.

И только тут я увидел под сосновыми песчаными корнями — нора, ведущая в глубь бугра.

Я пал на землю, покрытую сосновыми иголками, разбросал маслята и рыжики, которые мешали слушать, и приник ухом к бугру. Так странно было слышать собачий лай из глубины земли.

Лай вдруг прервался, послышалось рычанье. Так точно рычал Милорд, когда вцеплялся в поводок, и я понял, что он отдался мертвой хватке, вцепился под землей в кого-то и не отпустит ни за что, пока в дело не вмешается чудовищная центробежная сила.

Несколько часов лежал я на земле и слушал его голос, а сделать ничего не мог. Не было у меня, конечно, никакой лопаты, а если б и была, то какого черта и где копать?

— Милорд! — кричал я иногда в отчаянии. — Кончай эту ерунду!

Конечно, он меня слышал, но бросать барсука, а скорее всего это был барсук, не собирался.

— Ухожу! Ухожу на электричку! — в отчаянии кричал я, но он понимал, что я никуда не уйду, так и буду торчать на барсучьем бугре до вечера, а потом и всю ночь, и весь следующий день, в общем, пока в дело не вмешается чудовищная центробежная сила.

И я решил уйти. Милорд услышит из-под земли мои шаги, поймет, что я и вправду ухожу. Пусть выбирает: я или мертвая хватка.

Я затоптал с яростью костер. Громко топая, пошел я к ручью. Боже, как же я топал и проклинал песок за то, что он гудит под каблуком не так гулко, как надо бы.

Милорд появился внезапно и как ни в чем не бывало, просто вдруг выпрыгнул сбоку из травы. Ухо у него было разорвано, вся морда в крови. Но он не обращал на это никакого внимания и только лишь веселился, что догнал меня.

Я все-таки подтащил его к ручью, слегка омыл морду, раскупорил патрон, присыпал раны порохом.

Уже вечерело, и мы пошли к станции через болото, напрямик.

В одном особенном каком-то зеленом и сыром месте Милорд вдруг высоко подпрыгнул. Опустился в траву и снова прыгнул, как-то странно, боком. Пока я бежал к нему, он все прыгал на месте.

Это была гадюка. Черная, аспидная. Я выстрелил и перешиб ей шею.

На следующее утро, как всегда, опустил я на пол босые ноги, и Милорд тут же лизнул меня в пятку.

«Слава богу, — подумал я. — Не успела укусить».

Я пошел умыться, и Милорд двинулся за мной. Он полз по полу, перебирая передними лапами. Задние отнялись.

От Красных ворот, которые стояли над нашим домом, я бежал по Садовой к Земляному валу. Милорда я держал на руках, он лизал меня в подбородок.

— Держите его крепче, — сказал ветеринар. — Зажмите пасть.

Я прижал Милорда к клеенчатому столу, сжал изо всех сил пасть, и врач всадил ему в живот тупую иглу.

А мама моя названивала в ветеринарную академию, но никак не могла найти человека, который знал бы, как лечить фокстерьеров от укусов гадюк. Наконец, нашелся человек, который рекомендовал марганцевые ванны.

Каждое утро Милорд выползал из-под моей кровати и отправлялся на поиски мамы. Он жалобно скулил, умоляя сделать ему очередную марганцевую ванну.

А я двадцать дней подряд бежал с ним по Садовой к ветеринару. Уколы эти были ужасны, игла тупа. С трудом удерживал я Милорда.

Ванны и уколы помогли. Лапы постепенно начинали двигаться. Вскоре Милорд уже кое-как ковылял, потом скованно припрыгивал и в конце концов бежал нормально. Все вроде бы пошло по-старому, изменилось одно: он не лизал меня утром в пятку, перестал двигаться рядом с моим ботинком.

Я превратился просто в хозяина собаки, в человека, у которого проживает гладкошерстный фокстерьер.

Я переживал ужасно. Я понимал, что все пройдет и когда-нибудь Милорд позабудет ту чудовищную боль от ветеринарной иглы. А Милорд боялся меня. Он думал, что я вдруг схвачу его и снова потащу на укол.

Да, странная была тогда осень. Деревья в Москве облетели только в конце октября. Двор наш весь был засыпан листьями ясеня, тополя, американского клена.

Дворничиха тетя Наташа сметала листья метлой в огромные кучи, и Милорду нравилось залезать в эти кучи листьев. Ему казалось, что там кто-то шуршит.

Он разгребал листья лапами, фыркал, рычал, кидался в охристую глубину. Но листья, конечно, шуршали от старости, никого в себе не тая.

Я тоже делал вид, что там кто-то есть, и вместе с Милордом накидывался на кучи листьев, разгребал их, разбрасывал в разные стороны.

Иногда я нарочно запрятывал в листья кусок сахара или сухарик, и в полном восторге мы находили его.

Не знаю уж, что помогло — время или листья, но, кажется, листья. Однажды я опустил с кровати на пол босые ноги и почувствовал — пятку мою лизнули. Я так радовался в этот день, что хотел даже прогулять институт, и надо было бы прогулять и уехать с Милордом куда-нибудь за город, на Москву-реку, в Уборы, надо было бы перерыть там и перебрать все опавшие листья.

Но я — по глупости — пошел в институт, а когда вернулся — Милорд встретил меня во дворе.

Вместе мы обшарили все кучи листьев, нашли куска два сахара, и я побежал наверх, на третий этаж, обедать. Милорда я спокойно оставил погулять во дворе. Его ведь все знали во дворе и все любили, а на улицу Милорд без меня никогда не выходил.

Я обедал еще, когда услышал, что со двора мелкая шпана громко называет по имени мое имя.

Я выбежал во двор.

— Мужик! — кричала мелкая шпана. — Мужик в серых брюках! Пристегнул его на поводок! Пристегнул и потащил!

— Туда, туда по Садовой!

От Красных ворот, которые стояли над нашим домом, я бежал по Садовой-Черногрязской к Земляному валу. Передо мной и за мной вслед бежала мелкая дворовая шпана.

— Вон он! Вон он! Вон он! — кричали они.

Я бежал и не видел нигде Милорда и мужика в серых брюках. Меня обгоняли троллейбусы и машины, движение огромного города обгоняло меня, тысячи и сотни мужиков в серых брюках разлетались в стороны. Я понимал, что все кончено и я больше никогда в жизни не увижу Милорда, и все-таки бежал, а навстречу мне летела в глаза холодная серая пыль, и я не понимал, что это уже снег. Я бежал по Садовой к Земляному валу. От Красных ворот.

КОГДА-ТО Я СКОТИНУ ПАС

Завернутая в крафт, натертая крупной желтой солью, в рюкзаке моем лежала нельма.

Было жарко, и я часто развязывал рюкзак, принюхивался — живали?

Кроме нельмы, в рюкзак вполне вмещался небольшой корабельный штурвал. Нельма и штурвал да несколько этюдов — достойные приметы путешественника, возвращающегося домой из плаванья по северным озерам.

Билет на поезд до дома был куплен заранее, оставалась ночь в чужом полупортовом городе. Денег не осталось. Я наскреб мелочи, купил полбуханки хлеба и пошел в инспекцию рыбоохраны. Рабочий день кончился, но в условленном месте мне припрятали ключ.

В инспекции было пыльно. В углу, как жучок, скрежетал репродуктор. Пристроившись под графиком отлова судака, я вынул из рюкзака штурвал.

Старой он был работы, шоколадного с зеленой дуба и в медных заклепках. Одна рукоятка обломалась, вероятно, от напряжения капитана, и штурвал списали на берег. А я как раз стоял тогда на берегу и обогрел старого морехода.

Я ел хлеб и смотрел на штурвал. Пробовать нелюблю пока не полагалось. Я хотел привезти ее в Москву и показать друзьям, которые в глаза не видывали нелюблю. Я заранее веселился, представляя нелюблю в кругу друзей, и сочинял стихи про штурвал.

Когда-то я скотину пас,
Сажал в садах фасоль.
Теперь держу в руках компас,
Держу в руках буссоль...

Пожалуй, с «буссолью» я поторопился. В ней было мало корабельного, да и желаемый штурвал не попадал в балладу. Сомневаясь, промеряя варианты, одиноко усмехаясь над своей поэзией, я коротал скучнейший вечер в конторе.

Когда-то я скотину пас,
В лугах ромашку рвал...

Почему-то никак не мог я отделаться от этой «скотины», которую якобы пас.

Скрипнула дверь, вошла уборщица — белобрысая девка с ведром и тряпкой в руках. Поставила ведро, бросила тряпку и стала подтягивать и подтыкать платье, прямо надо сказать, довольно-таки высоко.

Я пока не ввязывался в дело и тихо ел хлеб. Она ворчала и бурчала про себя, осматривая пол конторы, заляпанный глиной с рыбацких сапогов.

— Скотный двор, — сказала она и тут заметила меня.

Туповатое напряжение сковало ее лицо. Она, видно, соображала, откуда я мог взяться. Напряжение не приносило плода, взяться я ниоткуда не мог. Полноватая светлоглазка, она была, как говорят, немного сырая, что вполне соответствовало профессии.

Я ел хлеб, не собираясь особо разговаривать. В конторе я ночевал незаконно, и меня легко было выставить на улицу.

Скромно и незаметно, без натуги, двумя пальцами она опустила подол.

— Хочешь огурчика малосоленного? — спросила она.

Эти слова звучали, кажется, неплохо. Открывать, однако, рот не захотелось, и я кивнул: дескать, давай. Почему-то я решил быть строгим.

Она вышла в коридор и тут же вернулась. Огурцы в трехлитровой банке ожидали ее, оказывается, за дверью.

— Сама солила? — спросил я. Толково спросил и строго. Для начала разговора это был нужный вопрос.

— Сама, — кивнула она и присела к столу.

Я выудил огурец.

Посол оказался умеренным. Какой-то тихий посол, женский. В нем чувствовалась близость северных озер и влияние девятнадцатого века.

— У тебя что — денег нет? — спросила она.

Завязался все-таки разговорчик, и она продолжила его остро. Надо было ответить со строгостью хотя бы средней силы. Я долго думал, играя с огурцом.

— Есть, но не здесь и мало.

Некоторое время она молчала, переваривая предложенную мною кашу.

— Дать трешку?

Я отвлекся от огурца. Она улыбалась. Кажется, она простирала ко мне нечто материнское. В серебряных ее глазах заключалась и печаль с оттенком лукавства. Хотя в серебре ни лукавства, ни печали прежде нами не наблюдалось. Она ожидала, клюну ли я на трешку, как клюнул на огурец.

— А ты что, кому попало даешь? — грубовато нашелся я.

— Кому попало, — вздохнула она.

— Тогда не надо.

Разговор забрел в кривое русло, которое могло свернуть и в сторону неудачной семейной жизни. Она могла свободно начать рассказ, как были не правы те, кому она давала трешки. А они, конечно, были не правы. И я буду не прав. Надо было поворачивать штурвал разговора на несколько румбов правее.

— Вот! Посмотри, что я везу! — сказал я, поворачивая разговор в сторону штурвала и указывая на него.

— Руль?

— Лурь, — передразнил я. — Это штурвал. С Белого озера. А вот послушай песню.

Я взял штурвал, завертел его перед собой и слегка припел:

Когда-то я скотину пас... и т. д.

Пел я весело, полагая, что она вполне достойна моей новоиспеченной мореходно-пастушьей песни. Это было как бы наградой за возможную трешку и реальные огурцы. Во всяком случае, когда поешь песню и не берешь трешку — это большая человеческая правота.

— Я бывала на Белом озере, — сказала она, не замечая правоты и пасомой мною скотины. — Плавала там с детьми на теплоходе.

— А я прошел Белое озеро вдоль и поперек. Понюхал белозерского снетка.

— И знаешь, что я там видела? Затопленную церковь... Дети бегают и радуются! Домик! Среди воды! Вот бы в таком пожить, прямо из окошка рыбу ловить! А взрослые грустно смотрят. Когда подплыли поближе, и дети перестали кричать. Окна мрачные и пустые... Дыры, а не окна.

Это место на Белом озере, которое называется Крохино, я, конечно, знал. Затопило там деревню — уплыли дома, а церковь осталась стоять. Странно, что ее не взорвали.

— Я-то вначале думала, что кто-то нарочно построил церковь прямо в воде, чтоб рыбаки подплывали на лодках или прятались от бури.

Она отвернулась в этот момент и смотрела в окно. Я не видел, что там делается в ее серебре, какие возникли новые детали.

— Неужели так и думала?

— А что? Разве это невозможно?

— Сейчас невозможно. И нет таких людей, которые так думают.

Она повернулась ко мне, и я понял, что серебро потускнело, блеск ушел в глубину.

— А может, есть?

— А если и есть — нет у них силы построить.

— А у тебя была бы сила — ты бы построил?

— Храм посреди волн?

Я задумался. Слишком углубиться в эту идею мне не удавалось. Только что писал стихи про штурвал, ел огурцы, и тут же строить храм среди волн было нелепо. Пожалуй, в этот момент я был способен на скромное строительство, не шире шалаша, и желательно на суше.

— А как тебе песня? — спросил я, уходя в сторону от строительства храма. — Сам сочинил.

— А когда ты коров-то пас?

— Не коров! Не коров! Скотину!

— Телят?

— Да вообще всякую скотину... понимаешь?.. скотину вообще.

— И долго ты пас-то?

— Два года,— неожиданно ответил я.

— Прирабатывал?

Нет, это было невозможно.

— Ладно,— сказал я,— я не пас никакой скотины.

— И фасоль не сажал?

— Сажал,— снова неожиданно ответил я.— Но редко, только в крайних случаях.

Она тихо задумалась, соображая, в каких таких крайних случаях люди сажают фасоль.

— Бывало, как построю храм на воде,— сказал я,— сразу фасоль сажаю, так что скотину пасти некогда.

Она все-таки улыбнулась. Материнские струны снова звякнули в серебре.

— Смеешься?

— Не смеюсь, но скажу честно: строить храм мне не по силам. Скотину я не пас и фасоль не сажал. И штурвал-то крутил всего два часа. Но сейчас я тебе кое-что покажу — и я достал из рюкзака нельму.

Бечевка, которой был завернут сверток, оказалась жирной на ощупь и, видно, тоже просолилась. Крафт-крафт — я развернул рыбину.

От соли чешуя нельмы еще потемнела, пасмурно засветились ее бока. Цельная, неразрезанная, нельма была бы уместна на старом столовом серебре. Нож, которым я взялся ее разрезать, выглядел откровенной железякой, жидкой и белесой.

— Боже, что это? — спросила она, как видно, не находя в нельме признаков рыбы.

— Нельма. Рыбаки мне подарили.

— Такое кому попало, наверно, не дают,— сказала она,— глядя на меня с уважением.

Нельма жирно вздрагивала под ножом, выскальзывала из-под лезвия, и я водил им деликатно, как скрипач смычком. Я как бы играл «Элегию» Масне.

Нельма уже просолилась. Мясо ее было полупрозрачным с легким перламутровым отливом. Сквозь ломтик нельмы можно было разглядеть тусклое инспекционное окно.

— Смотри-ка,— сказал я.— Сквозь нее окно видно.

Она взяла в руки кусочек нельмы, посмотрела в окно, отведать рыбы она не решалась.

— Меня зовут Нина,— неожиданно сказала она.

Я попробовал нельму и, показалось, совершил что-то незаконное.

Нельма была наивна. Вкус ее, нежность и прозрачность заключались в слове, тающем на губах, — «нельма».

— Ешь, — прикрикнул я. — Чего ты тянешь?

— Не знаю, наверно, мне нельзя... Такая рыба. Не для меня.

— Хватит валять дурака. Ешь! Вот смотри! Это не нож — это смычок! А нельма — скрипка.

Отрезая следующий кусок, я играл уже «Танец с саблями» Арама Ильича Хачатуряна. Пока я наяривал на скрипке, она все-таки съела свой кусок нельмы, и я протянул ей второй.

— Значит, ты тоже даешь кому попало? — спросила она, не принимая рыбу из моих рук.

— Что даю?

— Деньги и рыбу.

— Ты не кто попало, ты сама — нельма.

— Нельма?

— Конечно, нельма, поглядишь в зеркало.

— Не надо больше. Я не стану есть. Мне кажется, я у кого-то во-рую.

— Нина, что с тобой? Ты ненормальная? Бери и ешь, черт тебя подери! Ешь, когда угощают, и не порть мне игру на скрипке.

— Не надо мне больше. Хватит.

Она встала из-за стола, пошла к умывальнику, который висел в углу, заглянула в зеркало. Кажется, она действительно проверяла, похожа ли на нельму.

Я отложил нож, завернул остатки нельмы в бумагу, перевязал бечевкой. Потом подошел к умывальнику, сполоснул пальцы и тоже заглянул в зеркало. Мое обветренное лицо вполне уместилось рядом с ее серебристыми глазами.

— Когда-то я скотину пас, — сказал я и обнял ее.

— Сегодня я, кажется, пол мыть не буду, — улыбнулась она.

— Это все неважно, — объяснял я. — Пол, огурцы, нельма... Что-то есть, конечно, важное, но что — я сейчас забыл.

— Да ты помнишь, — говорила Нина, прижимая мои руки к своей огромной белой груди. — Конечно, помнишь... Храм на воде.

НОЖЕВИК

В бестолковых моих скитаниях по вечновечерним сентябрьским полям встречались мне и люди с ножами.

Этот подошедший в сумерках к моему костру ножа при себе не имел.

— Картошечки пекёте? — спросил он, подсаживаясь в сторонке от огня.

— И уху варим, — добавил я во множественном числе, хотя и был один, без товарища, на двести верст кругом.

— Я и говорю: рыбоуды. Такой дым у костра — рыбоудский. Я, как издали увидел, так и говорю: рыбоуды... А где же товарищ ваш?

Отвечать правду отчего-то мне не захотелось.

— Товарищ-то?.. А там товарищ, — кивнул я в сторону реки.

С реки и вправду доносились какие-то звуки: голоса женщин или крики чаек? Вполне было возможно, что там, в этих голосах, находил место и мой какой-то товарищ.

— А что он, товарищ-то ваш, рыбку удит?

— Да нет, — ответил я, прикидывая, какой такой там, в дальних звуках, мог быть у меня товарищ, и пытаясь его себе представить. — Товарищ-то мой, он... нож ищет.

— Нож?! Потерял, что ли?

Не знаю, откуда я взял этого «товарища» и почему сказал, что он ищет нож. Это был бред, внезапно возникший в голове.

Надо было отвечать и проще всего сказать, что «товарищ мой» нож потерял. Однако отчего-то мне не захотелось, чтоб «товарищ мой» терял свой нож.

— Да нет, не терял он нож, — сказал я, отмахиваясь от дыма, вылавливая ложкой картофелину из котелка. — Он с этим ножом...

Тут я замолчал, потому что не знал, что он делает «товарищ-то мой» с этим ножом. Сидит, что ли, на берегу и точит об камень?

— ... вообще носится, как с писаной торбой, — закончил я не понятную никому ворчливую фразу. Я как бы серчал на своего «товарища», который надоел мне со своими глупостями и особенно с ножом.

Подошедший к костру как-то по-своему меня понял, придвинулся к огню поближе. Это мне не понравилось. Навязчивый очень к ночи. Никакого доверия и дружбы не вызывал этот сумеречный, худощавый, как тень, человек. Что бродит он по чужим кострам?

— У вас тоже хороший нож, — сказал он, кивнув на мою финку, облепленную чешуей подлещиков, которая валялась у костра.

— Да это так... финка, — ответил я, намекая, что у моего товарища ножичек похлестче. Вот только что же он с ним сделал? Почему ищет?

Может, он его метал? Куда метал? В дерево? Зачем? Совсем дурак? Возможно.

Нет, мне не хотелось, чтоб товарищ мой был таким дураком, который мечет ножи в деревья. Может быть, он мечет его в рыбину, вышедшую на поверхность? В жереха? А ножик на веревочке?

Неплохо. Редкость, во всяком случае,— товарищ, который мечет нож в жереха, вышедшего на поверхность реки! Такой мне по нраву.

— Финка... у меня тоже когда-то была...— сказал сумеречный человек и взял в руки мою финку, пощупал лезвие подушечкой большого пальца.— Вострая...

— Положь на место.

— Что ж и потрогать нельзя?

— Нельзя... Это нож... моего товарища.

Товарищ мой мифический, кажется, обростал ножами. Один он метал в жереха, второй — валялся у костра.

— У него что ж — два ножа?

— Больше,— ответил я.— Я точно не считал. А у вас есть нож?

— Отобрали,— махнул он рукой.

— Отобрали?

— Когда брали — тогда и отобрали... а нового не успел завести...

Вот так. Его, оказывается, брали. Я это сразу почувствовал.

Сумеречный человек молча смотрел в огонь. Кажется, вспоминал задумчиво о том славном времени, когда у него еще не отобрали нож. Интересно, что он делал этим ножом? Похоже — ничего веселого. Разговор о ножах мне нравился все меньше и меньше.

— А зачем товарищу-то вашему столько ножей?

— Андрюхе-то? — переспросил я.

Мне казалось, что «товарищу моему» пора получить какое-то имя. И оно возникло легко и просто: Андрюха. Рыжий, большой, даже огромный Андрюха, немного лысоватый. Метнул нож в жереха, да не попал. Нож, хоть и на веревочке, а утонул, и вот теперь Андрюха ныряет посреди реки, ищет нож. Мне ясно было видно, как ныряет огромный Андрюха посреди тихой реки, шарит по дну пальцами.

— Что ж он делает с ножами-то? — отчего-то хихикнул сумеречный.— Солит, что ли?

— Мечет,— лаконично ответил я. И все-таки добавил, пояснил: — В жереха!

Человек, у которого отобрали нож, задумался, вполне напряженно размышляя, каким образом Андрюха может метать нож в жереха. Работа эта проходила с трудом, и я, чтоб поддержать усилия, добавил:

— Он у нас... вообще... ножевик.

Это слово особой ясности не внесло, и я отошел немного от костра и покричал в сторону реки:

— Андрюха-а-а... Андрюха-а-а...

С берега никто не ответил. Голоса женщин или чаек давно уже там утихли.

— Как бы не утоп...— пробормотал я себе под нос.

— Да не утопнет,— успокоил меня человек, лишенный ножа,— сейчас подойдет.

— Пора уж,— ворчал я на Андриюху.— Уха готова... ладно, пускай пока поостынет.

Я снял с огня котелок, отставил в сторону. Пар от ухи не стал смешиваться с дымом костра, встал над котелком отдельным пенным столбом. Человек сумеречный к ухе не придвигался, но сидел прочно, поджидая, как видно, Андриюху.

— Ладно,— сказал я,— остывает... похлебаем, пока нет Андриюхи. А ему оставим.

Я протянул ложку сумеречному.

— Ну, давай, пробуй.

— Да уж дожидись товарища-то,— сказал он, встал и быстро пошел от костра в сторону деревни.

— Эй, да погоди ты, постой. Попробуй ухи, тут на всех троих хватит...

— Да ладно,— не оглядываясь, махнул он рукой.— Чего мне уха? Быстро надвигалась ночь, и фигура его пропадала, удаляясь от меня в поле. Скоро ее уже не было видно.

Я хлебнул ухи, подсоллил, поперчил. Потом отошел немного от костра и снова крикнул туда в сторону реки:

— Андриюха-а-а... Андриюха-а-а...

Совсем уже стемнело, когда я услышал издалека:

— Иду-у...

ПРО НИХ

**Лес, лес!
Возьми мою глоть!**

Заболело у меня горло.

Стал я его лечить горячим молоком и медом, паром разварной картошки.

— А ты в лес сходи,— сказала Пантелевна.— Стань на поляне да и крикни изо всех сил: «Лес, лес! Возьми мою глоть!» Может, и возьмет. Только сильней кричи-то и рот пошире открывай.

Обулся я, оделся потеплей, пришел в лес. Стал на поляну, разинул рот и крикнул изо всех сил:

— Лес, лес! Возьми мою глоть!

Не шелохнулся лес, и я не понял — взял он или не взял.

Стал я снова кричать и орал ужасно и рот разевал, чтобы лес мог поглубже в меня проникнуть.

«Ну и глоть у тебя, брат» — думал, наверно, лес, глядя на мои старания.

Вернулся я домой, залез на печку греться, а сам все думал: «Взял он или нет?»

Давно это было. И теперь я живу в городе, и горло у меня не болит. И ничего у меня не болит. И вообще я здоров как бык.

Весело гуляю среди каменных домов, а про себя всегда думаю: «Лес, лес! Возьми мою глоть!»

Снегири и коты

Поздней осенью, с первой порошей пришли к нам из северных лесов снегири.

Пухлые и румяные, уселись они на яблонях, как будто вместо упавших яблок.

А наши коты уж тут как тут. Тоже залезли на яблони и устроились на нижних ветвях. Дескать, присаживайтесь к нам, снегири, мы тоже вроде яблоки.

Снегири хоть целый год и не видели котов, а соображают. Все-таки у котов хвост, а у яблок — хвостик.

До чего ж хороши снегири, а особенно — снегурки. Не такая у них огненная грудь, как у хозяина-снегиря, зато нежная — палевая.

Улетают снегири, улетают снегурки.

А коты остаются на яблоне.

Лежат на ветках и виляют своими яблочными будто хвостами.

Поздним вечером ранней весной

Поздним вечером ранней весной я шел по дороге.

«Поздним вечером ранней весной», — складно сказано, да больно уж красиво...

А дело, правда, было поздним вечером ранней весной.

Весна была ранняя, соловьи еще не прилетели, а вечер — поздний.

Так что ж было-то поздним вечером ранней весной?

А ничего особенного не было. Я шел по дороге.

А вокруг меня — и на дороге, и на поле, в каждом овраге — светился месяц.

Иногда я наступал на него — и месяц расплывался вокруг моей ноги. Я вынимал ногу из лужи — на сапоге блестели следы месяца.

Капли месяца, как очень жидкое и какое-то северное масло, стекали с моего сапога.

Так и шел я по дороге, по которой ходил и ясным днем, и тусклым утром, и — так уж получилось — поздним вечером ранней весной.

Сирень и рябина

Мне кажется, что сирень и рябина — сестры.

Сирень — весенняя сестра.

Рябина — осенняя.

Весной — за каждым забором кипящий сиреневый куст. А плодов у сирени и нет никаких, так, стручочки ржавенькие.

Рябина тоже весной цветет, но какие у нее цветы?

Никто их не замечает. Зато уж осенью — за каждым забором — рябиновые гроздья.

Кисти сирени и гроздья рябины никогда не встречаются. Кто думает весной о рябине?

Кто вспомнит осенью сирень?

Редко, очень редко вдруг в августе снова зацветет сиреневый куст. Будто хочет поглядеть — хороша ли нынче рябина?

Срублю себе дом и посажу у крыльца сирень и рябину.

Справа — сирень, слева — рябину, а сам посередке на крыльцо сяду. Вот будет здорово!

Справа у меня — весенняя сестра, слева — осенняя, а я посередке сижу.

Кувшин с листвобом

Сырой землей, опятами, дымом с картофельных полей пахнет осенний ветер листвобой.

На речном обрыве, где ветер особенно силен, я подставил под его струю красный глиняный кувшин, набрал побольше листобая и закупорил кувшин деревянной пробкой, залил ее воском.

Зимним вечером в Серебряническом переулке соберутся друзья. Я достану капусту, квашенную с калиной, чистодорские рыжики. Потом принесу кувшин, вытащу пробку.

Друзья станут разглядывать кувшин, хлопать по его звонким бокам и удивляться, почему он пустой. А в комнате запахнет сырой землей, сладкими опятами и дымом с картофельных полей.

ПРО НИХ

Отгорел закат, отстали от меня ласточки-касатки, когда я подошел к незнакомой деревне.

Смеркалось.

Печальной показалась мне деревня. Я шел по улице, а не встретил ни души. Присел на крылечке какого-то дома, а никто и не выглянул в окно. Тут я увидел, что почти все окна заколочены, а на дверях висят замки и замочки. Люди из деревни ушли.

«Зачем это? — думал я. — Зачем ушли? И куда? Наверно, в город. Буду новую книжку писать — обязательно напишу про эту деревню».

— И про нас напиши! — послышался вдруг близкий и хриплый голос.

Я вздрогнул.

— Юра! И про нас напиши, — снова явственно проговорил кто-то. Голос слышался за углом дома.

Я заглянул за угол — никого не было. Лежали перевернутые козлы, стоял под засохшей яблоней сломанный стул, валялась безногая кукла.

Обошел дом вокруг — никого не встретил.

Совсем стемнело, стало мне не по себе, и я ушел в поле.

— Напишу! — крикнул я напоследок. — Обязательно про вас напишу.

Вот я и написал про них, а кто они такие — не знаю.

СОДЕРЖАНИЕ

Чайник	3
Картофельная собака	5
От Красных ворот	13
Когда-то я скотину пас	36
Ножевик	41
Про них	47

КОВАЛЬ Юрий Иосифович

КОГДА-ТО Я СКОТИНУ ПАС

Редактор О. Н. Хлебников

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 31.10.89. Подписано к печати 9.01.90. А 00207 Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Усл. кр.-отг. 2,28. Уч.-изд. л. 3,02. Тираж 150 000 экз. Зак. № 1431. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Лени-
на издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

● **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1982 ГОДА** — выпущен 1 января 1982 г. сроком на 20 лет в облигациях достоинством в 25, 50 и 100 рублей.

Облигация в 100 рублей состоит из двух пятидесятирублевых облигаций одной серии с двумя номерами; облигация в 25 рублей является половиной пятидесятирублевой.

Облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года являются удобной и выгодной формой хранения денежных сбережений населения, они свободно продаются и покупаются учреждениями Сберегательного банка СССР и принимаются от их владельцев на хранение.

Ежегодно по займу проводятся 8 тиражей выигрышей: 15 февраля, 30 марта, 15 мая, 30 июня, 15 августа, 30 сентября, 15 ноября, 30 декабря.

По займу можно выиграть 10 000, 5 000, 2 500, 1 000, 500, 250 и 100 рублей на пятидесятирублевую облигацию, включая ее нарицательную стоимость.

Владелец выигрыша в 10 000 рублей имеет право на внеочередную покупку автомобилей «Волга», «Жигули» или «Москвич», а выигрыша в 5 000 рублей — автомобилей «Жигули» или «Москвич».

Разница между стоимостью автомобиля и суммой выигрыша вносится владельцем выигравшей облигации.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК СССР К ВАШИМ УСЛУГАМ!